Из книги «Маргинальные истории»

Луис Сепульведа

SHOUT
SHARE
IT

- Луис Сепульведа
  - Любовь и смерть
  - Тано
  - Гасфитер
  - Потерянный остров
  - Белые розы Сталинграда
  - С рождеством!
  - Голос молчания
  - Розы Атакамы
  - Шалом, поэт
  - Папа Хемингуэй, посещаемый ангелом
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

Луис Сепульведа
Из книги «Маргинальные истории»

Любовь и смерть

Утром почтальон принес мне пакет. Я открыл его. Это был первый экземпляр романа, который я писал, думая о моих трех маленьких сыновьях. О Себастьяне, которому одиннадцать лет и о близнецах Максе и Леоне, которым по восемь.

Писание этой книги было выражением любви к ним, к городу, в котором мы были глубоко счастливы — Гамбургу, и к центральному персонажу — коту Зорбасу, огромному толстому и черному коту, который в течении многих лет был товарищем наших мечтаний, сказок и приключений.

И в момент, когда почтальон вручал мне этот первый экземпляр романа и я чувствовал счастье, видя собственные слова, бережно разложенные по страницам, Зорбас был у ветеринара, из-за болезни, которая сначала лишила его аппетита, сделала грустным, вялым и в конце не давала ему дышать. Днем я пошел забирать его и услышал страшный приговор, — к сожалению, у вашего кота развитая стадия рака легких.

В последних строках романа говорится о глазах благородного, доброго портового кота, потому что Зорбас — это все это и многое другое. Он пришел в наши жизни с рождением Себастьяна, и со временем этот кот стал нашим товарищем, любимым нами четвероногим мелодично мурлычущим товарищем.

Мы любим этого кота, и во имя этой любви я должен был собрать моих детей, чтобы говорить с ними о смерти.

Говорить с ними о смерти — смысл моей жизни. С ними, такими маленькими, такими чистыми, такими наивными, такими доверчивыми, такими благородными, такими щедрыми. Я боролся со словами, пытаясь найти наиболее уместные, чтобы объяснить им эти ужасные истины.

Первая, что Зорбас, по закону, который не нами придуман, и которому тем не менее все мы должны подчиниться даже за счет нашей гордости, умрет как всё и все умирает. И вторая — что от нас зависит избавление его от смерти жестокой и мучительной, потому что любовь заключается не только в достижении счастья любимого нами существа, но и его избавлении от страданий и сохранении его достоинства.

Я знаю, что слезы моих детей будут сопровождать меня всю мою жизнь. Каким бедным и жалким чувствовал себя я перед их беззащитностью. Каким слабым казался я себе перед невозможностью разделить с ними их справедливое возмущение, их неприятие, их взывания к жизни, их проклятия в адрес бога,

который ради них и только ради них, может считать меня своим верующим, их надежды, к которым они обратились со всей чистотой людей в их лучшие моменты.

Мораль — это атрибут человека или его изобретение? Как объяснить им, что наш долг в том, чтобы сохранить достоинство и цельность этого исследователя крыш, авантюриста садов, ужаса крыс, лазателя по каштанам, драчуна дворов, залитых лунным светом, вечного обитателя наших бесед и наших снов?

Как объяснить им, что есть болезни, при которых необходимы тепло и компания здоровых, но бывают и другие, заключающиеся в сплошной агонии, сплошной позорной и страшной агонии, единственный признак жизни при которой — страстное желание умереть?

И как ответить на это беспощадное «почему он»? Да. Почему он? Наш товарищ прогулок по Черному лесу. Такой котяра! Люди начинали шептаться, видя его мчащимся наперегонки с нами или сидящим на раме велосипеда. Почему он? Наш морской кот, плававший с нами на яхте в водах Каттегата. Наш кот, который, едва только открывалась дверца машины — запрыгивал туда первый, радуясь предстоящей поездке. Почему он? Для чего мне нужен опыт всей жизни, если я не смог найти ответа на этот вопрос?

Мы сидели вокруг Зорбаса, который слушал нас с закрытыми глазами, доверяя нам, как всегда. Каждое слово, пресеченное плачем, падало на его черную шерсть.

Мы гладили его, подтверждая, что мы с ним, говоря ему, что эта любовь, нас соединяющая, подводит нас к самому болезненному из решений.

Мои сыновья, мои маленькие товарищи, мои маленькие мужчины, мои маленькие нежные и твердые мужчины, прошептали свое да, что Зорбас получит этот укол, который позволит ему уснуть и видеть сны о мире без снега, с дружелюбными псами, широкими залитыми солнцем крышами и бесконечными деревьями. И с кроны одного из них он будет смотреть на нас, чтобы напомнить нам о том, что он никогда нас не забудет.

Я пишу это уже ночью. Зорбас, который еле дышит, отдыхает у моих ног. Его шерсть блестит при свете настольной лампы. Я глажу его с грустью и бессилием. Он — свидетель стольких ночей писания, стольких страниц. Он разделил со мной одиночество и пустоту, которые приходят после того как ставишь в романе последнюю точку. Я говорил с ним о моих сомнениях и декламировал стихи, которые однажды собираюсь написать.

Зорбас. Завтра, из любви мы потеряем большого друга.

P.S. Зорбас отдыхает у подножия каштана, в Баварии. Мои сыновья сделали деревянную табличку, на которой можно прочитать:

> «Зорбас. Гамбург 1984 — Вильшейм 1996. Путник: здесь покоится благороднейший из котов. Послушай как он мурлычет».

Тано

Дон Джузеппе любил говорить, что его счастье — это результат серии ошибок, о которых ему приятно вспомнить. Первая из них была им допущена в 1946 г., когда молодой генуэзец поднялся наконец на палубу судна отплывавшего в Америку, Америку, которую он представлял себе с распростертыми и гостеприимными объятиями статуи Свободы. Позади оставалась Италия в руинах, кошмар войны и многие соседи, которые едва закопав свои черные фашистские рубашки, поспешили надеть костюмы демократов.

Да, Америка ждала его с распростертыми объятиями, и чтобы быть достойным этого приема, дон Джузеппе повторял двадцать слов по-английски, которым научил его один североамериканский солдат.

На пятый день плавания, один из членов команды, ввел его в состояние холодного шока, сообщив, что судно действительно плывет в Америку, но в Южную, потому что Америка — как он сказал — гораздо больше и шире, чем все на свете надежды и все на свете страдания.

Оправившись от сюрприза, дон Джузеппе начал искать кого-нибудь, кто может рассказать что-нибудь еще о стране, куда они направляются, и так сделался другом машиниста, как и он, итальянца, который уже много лет плавал на судах Южноамериканской Паровой Компании.

Соотечественник рассказал ему об Аргентине, огромной стране, где мясо было чуть ли не бесплатно, и где было столько пшеницы, что до самого недавнего времени ее просто жгли, чтобы выработать электроэнергию. И кроме того — добавил он, — я знаком с семьей из Пиамонта, которая поселилась в Мендосе и открыла там макаронный завод, и если ты скажешь им, что пришел от моего имени — они наверняка предложат тебе жилье и работу.

Когда они приплыли наконец в Буэнос-Айрес и дон Джузеппе ступил впервые на американскую землю, машинист познакомил его с шофером грузовика, перевозившим матрацы из аргентинской столицы в провинцию.

- Хорошо, *тано*[1], я отвезу тебя бесплатно, буду оплачивать тебе ночлег и пищу, в обмен на это ты поможешь мне разгружать, но твоя основная миссия состоит в другом — ты должен разговаривать со мной во время всей дороги. Говори не останавливаясь, о чем хочешь, пусть это будут какие угодно глупости, главное — говори.

Дон Джузеппе не понял ни слова из речи шофера, но что-то позволило ему догадаться о том, чего хотел собеседник, так что он ответил «va bene»[2] и поднялся в кабину грузовика, ветхого Мака с хромированным бульдогом на капоте. Уже в результате первых километров дороги, ему понравилось это обращение *тано,* точно так же как со временем ему покажется забавным обращение *бачича*[3].

Как только они выехали из окрестностей Буэнос-Айреса, перед глазами молодого эмигранта предстала плоская, зеленая и бесконечная панорама, где лишь изредка глаз встречался с одиноким путником или машиной. Мягкие взгляды тысяч коров провожали их проезд через пампу, и чтобы водитель не уснул, он начал рассказывать ему о своей жизни, о войне, о Генуе и своей законной мечте о счастье.

Так они проехали многие сотни километров, и на рассвете следующего дня шофер свернул с трассы на пыльную проселочную дорогу, которая вела к домам фермы.

Там были и другие водители со своими грузовиками, но больше всего там было мяса, горы мяса, целые телята на распорках, медленно жарящиеся под внимательными взглядами гаучо[4]. Итальянец ел и пил, как никогда в своей жизни и столько, что шофер-амфитрион, который-то и сам ни в чем не отставал от других, отправил его продолжать путь в грузовом отсеке машины, чтобы он хорошенько проспался на мягких матрацах.

О том, что произошло в Мендосе, дон Джузеппе так никогда и не узнал, как не узнал он и о том, остановился ли грузовик в этом городе. Помнит он лишь, как его разбудил ледяной воздух и голоса людей в зеленых униформах, приказавших ему выйти.

С головой, которая казалось, вот-вот разлетится на куски от боли и невыносимой жаждой, дон Джузеппе спрыгнул на землю и поразился суровому пейзажу заснеженных Анд. Этот жест удивления дал чилийским карабинерам понять, что он не имел ни малейшего понятия о том, где находится.

- Этот памятник — Христу-Спасителю — граница. Все что слева от нашего Господа — это Аргентина, а все что здесь справа — Чили.

Только теперь дон Джузеппе заметил, что водитель грузовика был не тем, который забрал его в Буэнос-Айресе, и на своем путаном генуэзском диалекте он попытался тысячу и один раз объяснить, что целью его поездки была Мендоса, и рассказал о последствиях асадо[5] и выпитого вина.

Единственное, что понял дон Джузеппе из слов чилийских карабинеров, это вопрос о том, понравилось ли ему аргентинское

вино и асадо. Как мог, он ответил, что да, и этого оказалось достаточно для того, чтобы чилийские полицейские немедленно потащили его в таверну гарнизона. Там эмигранта ждал следующий банкет с мясом и вином, с последовавшей за ним пьянкой, проснувшись после которой он обнаружил, что стал деловым партнером одного сержанта, занятого разведением индюков и прочей домашней птицы.

Через несколько лет, дон Джузеппе, *тано* для одних и *бачича* для других, открыл свой магазин импортных товаров в квартале Сантьяго, где прошло мое детство.

Он был просто еще одним гражданином этого пролетарского квартала. В своем толстом блокноте с черной обложкой он записывал долги соседей, покупавших у него в кредит, среди нас, малышни, он раздавал щедрые ломти колбасы, посвящал нас в тайны оперы, которая звуча с его граммофонных пластинок, делала прекрасными наши долгие вечера и время от времени приглашал весь наш квартал праздновать футбольные победы итальянского Аудакс Спортиво.

Лучший праздник в его магазине состоялся в воскресенье 4 сентября 1970 г. В ту ночь у нашего квартала было много поводов для веселья — Сальвадор Альенде победил на президентских выборах; дон Джузеппе после двадцати лет скромных, неафишируемых отношений, женился на сеньоре Дельфине, и вдобавок ко всему он взволнованно сообщил нам, что только что получил чилийское гражданство.

В последний раз я видел его в 1994 г. Он был уже стариком. Уже не существовало ни его магазина, ни нашего квартала — все было проглочено нищетой. Но его старые граммофонные пластинки продолжали наполнять вечера невозможной любовью и нестареющими голосами. Мы с ним выпили много стаканов вина, я еще раз выслушал его историю и мне было больно ответить ему, что да, на его вопрос о том, что, правда ли, что в Европе плохо относятся к эмигрантам.

Гасфитер

Так называют в Чили слесаря, и мастер Корреа был гасфитером, гордившимся своей профессией. «Все поправимо, кроме смерти» — гласил его этический код, написанный на старом чемодане с инструментом, и следуя этому принципу, он обходил улицы Сан-Мигеля, Ла-Систерны и Ла-Гранхи, ремонтируя трубы, устраняя вызывающие бессонные ночи течи из кранов, и запаивая своим керосиновым сварочным прибором дыры жизни.

Почти все гасфитеры очень рано покидали свои рабочие кварталы и, втискиваясь в переполненные автобусы, направлялись в «верхний квартал», в зону богатых, в другую Чили, чужую и далекую. Там всегда хватало работы и время от времени какой-нибудь щедрый патрон им доплачивал хорошие чаевые.

Мастер Корреа ненавидел слово «патрон» и поэтому никогда не выходил за пределы своих кварталов. Он считал, что именно здесь он действительно необходим, потому что когда, что-то приходит в неисправность в домах богатых, они просто покупают ему замену, но в отличие от этого, среди его соседей нужно было продлевать полезную жизнь всех приспособлений и как раз в этом он видел смысл секретов своей профессии.

Наметанным глазом он проверял текущий кран и на вопрос хозяйки о том, стоит ли заменить его на новый, отвечал словами восхищения в адрес производителей, перечислял благородные характеристики металла и совершенство деталей Баухауза или деко искусства[6]. Потом он с точностью хирурга принимался за разборку крана и выносил свой обычный приговор: «Все поправимо, кроме смерти».

Он не пил, потому что считал хороший пульс для своей работы чем-то совершенно необходимым. Со страстью он просматривал и читал издания по архитектуре, которые покупал в букинистических магазинах и когда открывал для себя какой-нибудь новый строительный материал, не мог скрыть слез волнения.

Единственной роскошью, которую он себе позволял, были его походы на стадион в качестве зрителя студенческих олимпиад. Мастер Корреа видел в атлетах совершенные механизмы, свободные от плесени и любой ржавчины.

Немного больше года назад ему неожиданно стало плохо, и врачи обнаружили у него рак на терминальной стадии. Гасфитер положил свой керосиновый сварочный аппарат возле самой

кровати и часами озабоченно смотрел на него. В его глазах была тоска, но не столько по поводу неизбежности собственной смерти, сколько в связи с той беззащитностью, которая ожидала краны, трубы и прочие элементы, зависевшие от его рук.

Он должен был с этим что-то сделать и сделал. Собрав последние силы, он собрал своих клиенток, которых считал самыми близкими, и объяснил им, что мир не может остаться на милость ржавчины и плесени, и поделился с ними всеми секретами своей профессии.

Несколько дней назад, в Сантьяго, его дочь Дорис рассказала мне об этом слесарном университете, как инструменты переходили из рук в руки, тем временем как ученицы, словно в древних ритуалах посвящения, повторяли технические термины. На похороны мастера Корреа пришло много народа, но среди родни и соседей особенно выделялся батальон женщин-гасфитеров.

Меня никогда не волновало и не волнует, что происходит в богатых кварталах, но мне небезразлична судьба моего квартала Сан-Мигель, Ла-Систерна и Ла-Гранха.

И чувствую облегчение от того что знаю, что последовательницы мастера Корреа, с инструментом за плечом, обходят его улицы, входят в его дома и добиваются того, чтобы вода текла свободной и чистой, безо всяких примесей, как большая братская правда бедных, та, которая никогда не ржавеет.

Потерянный остров

Он называется Малы Лосины и с самолета выглядит как охровое пятно в Адриатическом море, возле побережья страны, которая когда-то называлась Югославией. Однажды, попав туда без особых планов и сроков, в старом доме в Артаторе я начал писать текст, который стал моим первым романом.

Повсюду цвели сливы, олеандры и люди. Процветала, например, Ольга, красавица-хорватка, сочетавшая свои обязанности по содержанию пансиона с любовью к хриплому голосу Камарона де ла Исла. Процветал Стан, словенец, который каждый вечер разжигал мангал, открывал несколько бутылок сливовицы и приглашал соседей и прохожих насладиться гостеприимством своей террасы. Процветали Гойко, черногорец, поставлявший рыбу и кальмаров к праздничному столу, и Владо — македонец — певец непонятных, но оттого не менее прекрасных арий. Рассказывая свои бесконечные истории, процветал Левингер, боснийский аптекарь, еврей, бывший санитар антифашистского партизанского отряда. Иногда Панто, серб, которого когда-то выгнали из флота, брал в руки аккордеон, все мы пели, и за второй бутылкой сливовицы мы братались нежностью уменьшительных: Ольгица, Станица, Гойкица, Владица, Пантица. Мы понимали друг друга благодаря нашему вавилонскому винегрету из итальянского, немецкого, испанского, французского и сербо-хорватского.

- Главное, это что мы понимаем друг друга, — говорили мне. И повторяли: — В Югославии мы все друг друга понимаем.

Тшибили, салуд, прозит, салуте, санти.

В течении многих лет Малы Лосины был моим тайным раем, был пока не произошло что-то непоправимое, пока не возникло какое-то странное предчувствие, чего никто из моих друзей не смог мне объяснить, но это особенно замечалось в перемене настроения или молчании, когда речь заходила об истории страны.

Когда дикость сербского национализма вытащила из музеев обмундирование «четника» и дикость национализма хорватского облачилась в «усташа», остров не остался в стороне от конфликта.

Ольга закрыла двери своего сердца для фламенко и двери своего пансиона для всех, кто не хорват. Один из наступивших дней застал Панто марширующим в одиночку по улицам Арататоре, неся с собой сербский флаг и старую ненависть, смешанную с алкоголем. Веселый полуграмотный парень, еще

недавно игравший на аккордеоне, повторял теперь бредовые речи, присущие всем на свете националистам и в которых особенно нападал на еврея Левингера, обвиняя его в том, что тот — босниец и поэтому является исламским фундаменталистом. Стан уехал в Любляну и от его красивого дома остались только фотографии, изувеченные ножницами отчаяния. Гойко и Владо тоже покинули остров, запуганные Панто, который пытался заставить их составить ему кампанию в его грустном параде во имя великой Сербии и Ольгой, увидевшей в них православную угрозу для своей великой католической Хорватии.

Левингер перед самой сербской осадой переехал в Сараево. Оттуда он написал мне исполненное боли письмо: «Нам не хватило по крайней мере двух поколений, чтобы освободиться от рака национализма, единственным симптомом которого является ненависть».

Каждый раз, когда я вижу на карте пятнышко Малы Лосины, я знаю, что остров остался там, в Адриатическом море, но я знаю еще, что потерял его навсегда. Что случилось? Я знаком с историей Балкан, но не могу понять современной проблемы, и я уверен, что большинство сербов, хорватов, черногорцев, косоваров, словенцев, боснийцев и македонцев тоже не понимают ее, потому что единственное, что они познали — это умелая манипуляция официальной историей, той, которую всегда пишут победители.

Может быть, как указывает в своем письме Левингер, у этих двух поколений, которых не хватило, нашлось бы достаточно решимости посмотреть в глаза своей полной страдания истории, для того чтобы всегда братская идея справедливости открыла путь единственно возможному выходу — тому, который превосходит ненависть и утверждает разум.

Мне больно за потерянный остров, и его история напоминает мне о том, что народы, не знающие своей истории, легко становятся жертвами мошенников, ложных пророков и обречены на повторение старых ошибок.

Белые розы Сталинграда

Я так и не понял, красивый город Москва или нет: красота городов — это лишь то, что они отражают в глазах своих жителей, а москвичи постоянно смотрят вниз, будто пытаясь вновь отыскать неожиданно ушедшую у них из-под ног землю.

Нет ничего печальнее стариков, которые втянув голову в плечи и неотрывно глядя в асфальт, уже совершенно ничего не ждут, разве что того, чтобы какая-нибудь сердобольная душа купила у них одну из тысяч безделушек, разложенных на платках, полотенцах, покрывалах или остатках свадебных нарядов. У многих из них на отворотах видны награды, и моя переводчица помогает мне понять значение каждого из этих остатков иконографии бесславно и безвременно павшей страны: старик, который несмотря на жару закутан в старое пальто — Герой Социалистического Труда, другой, его сосед, время от времени делающий глоток из завернутой в газетную бумагу бутылки — Герой Советского Союза. Оба старика, среди чашек из сомнительного фарфора, ложек и книг, названия которых мне не понятны, предлагают прохожим десятки символов славного коммунистического прошлого.

Мы подходим к старушке, привлеченные, наверное, красотой девушки, которая улыбается нам со старой черно-белой фотографии. Она замечает это и своими грубыми руками, в переплетении вен и морщин которых угадываются крестьянские корни, берет и протягивает нам этот портрет в деревянной рамке.

Эта красивая девушка позирует, стоя на крыле боевого самолета. Она одета в кожаную куртку, стянутую военным ремнем, и застывший на фотографии ветер играет платком на ее шее и волосами, которые были, наверное пшенично-золотистого цвета.

Возле нее видна еще одна девушка, полноватая, в комбинезоне механика. Под фотографией — множество автографов, для меня непонятных, и выцветшая от времени печать с серпом и молотом. Моя переводчица обменивается несколькими фразами со старушкой, которая дрожащими пальцами показывает на толстушку с фотографии и улыбается.

Они продолжают разговор вдвоем, я не понимаю ни слова, предполагаю, что торгуются о цене, пока Людмила не отдает старушке все деньги, которые у нее с собой были и отходит, кусая губы.

Дома у Людмилы, пока мы пьем чай, она открывает какую-то книгу о Второй Мировой войне и рассказывает мне историю этой

фотографии.

Красивую девушку на самолете звали Лилией Владимировной Литвяк и она была военным летчиком. Она родилась в Москве в один из дней августа 1921 года; в двадцать лет прошла свое крещение огнем в небе над Сталинградом и вместе с другими пятью девушками-пилотами 286 Дивизии Красной Армии она создала эскадрилью, которая называлась «Белыми Розами Сталинграда». На своих легких «Яках-1» они достойно встретили немцев и очень скоро стали для Люфтваффе настоящим кошмаром. Белая роза, нарисованная по красной звездой была знаком самолета Лилии, командира группы, которая между сентябрем 42-го и августом 43-го сбила двенадцать вражеских летательных аппаратов. В двадцать два года лейтенант Лилия Владимировна Литвяк вылетела для выполнения своей миссии номер 168 и больше не вернулась.

Имя толстушки в комбинезоне механика — Инна Паспортникова. Ее боевая миссия заключалась в содержании в исправности «Яки» «Белых Роза Сталинграда» и она из всех этих славных женщин — единственная выжившая. Да, именно выжившая, потому что эта старушка, которая принесла свой жертвенный вклад и отдала лучшие годы юности борьбе с коричневой чумой, выживает сегодня с пенсией менее чем в 500 песет, что составляет меньше четырех долларов и продает свои воспоминания на одной из московских улиц.

Стремительные автомобили проносятся по широким проспектам Москвы. За тонированными стеклами не видны лица пассажиров. Элегантные господа выходят из банков в сопровождении свит охранников. В ресторане «Дмитрий» предлагаются «стандартные меню» за 300 долларов, включая шампанское. Инна Паспортникова неотрывно смотрит вниз.

Я хочу верить, что у нее до сих пор осталась мечта, одна-единственная — увидеть, как приземлится «Як» ее боевой подруги лейтенанта Лилии Владимировны, проверить и устранить в нем все неисправности и потом взлететь вместе с ней, чтобы выполнить последнюю миссию «Белых Роз Сталинграда».

С рождеством!

Одним декабрьским утром 1981 года я сидел в баре гамбургского аэропорта, ожидая прибытия одного близкого друга из Голландии. В последний раз мы с ним виделись в 1972, так что нам предстояло рассказать друг другу многое из произошедшего за эти годы и опустошить при этом множество бутылок красного вина. Я думал об этом, пил пиво и читал «El País», попадавшую в те годы в Германию на день позже публикации, когда вдруг непонятно откуда возникший женский голос, по-испански попросил меня показать страницу с прогнозом погоды. Я оторвался от газеты. Передо мной была красивая женщина с бездонными голубыми глазами и длинными светлыми волосами.

Мы поздоровались, я отдал ей страницу с метеорологической сводкой и услышал ее возмущение по поводу того, что в этой сводке нет ничего о погоде в Манагуа.

Мы обменялись несколькими словами. Я сказал ей, что ожидаю друга, которого не видел уже девять лет, и она призналась мне, что ожидает свою большую любовь, того, кого не видела уже четыре года. Мы вместе прошли к двери прибытия, и остались там стоять, глядя на выходящих и толкающих перед собой аэропортные тележки пассажиров.

Я увидел моего друга Кооса Костера точно таким же, как его образ, хранившийся в памяти. Высоким, неуклюжим, в рубашке в клетку и с прядью волос, спадавшей на лоб. Как обычно, он тащил на себе тяжелую телевизионную камеру. Коос вышел, подмигнул мне, раскрыл объятия и принял в них голубоглазую блондинку.

В том же аэропортном баре мы представились. Ее звали Криста. Она была врачом-хирургом и познакомилась с Коосом в Лейпциге, во время одной акции солидарности с Никарагуа. Коос рассказал ей о наших приключениях на юге Чили, когда мы были участниками политической кампании, приведшей к власти Сальвадора Альенде. Позднее, в другом баре, на этот раз в порту, Криста рассказала нам свою одиссею бегства из ГДР, и вместе они сообщили мне, что собираются жениться и уехать жить в Никарагуа. Она будет работать в одной больнице в Манагуа, и Коос станет корреспондентом телеканала Икон в Центральной Америке. Это был красивый жизненный план, и мы отпраздновали его, желая друг другу счастливого рождества. Да еще как отпраздновали!..

В последующие недели мы были неразлучны. Потом, в феврале, Коос сообщил, что должен лететь в Сальвадор

подготовить несколько репортажей. Мы договорились вместе поехать в аэропорт встречать его, когда он вернется, но сделать этого не смогли, потому что он не вернулся.

Коос Костер, вместе с четырьмя другими голландскими журналистами, был убит сальвадорской армией, при пособничестве военных советников Соединенных Штатов.

Одним очень холодным утром мы повезло останки Кооса на маленькое голландское кладбище. Голубые глаза Кристы смотрели в покрытое инеем небо.

«Я уезжаю», — шепнула мне она. Я спросил ее, куда. — «Занять место моего товарища», — ответила она.

Нет в жизни ничего труднее, чем проводить подругу на войну. Именно на войну, без эвфемизмов, потому что Криста вступила в отряд сальвадорских партизан, и, разумеется, прошли многие годы, в течение которых я ничего о ней не знал. Мы попрощались все той же фразой — «С рождеством!» и договорились, что это навсегда останется нашим приветствием, потому что каждый раз, произнося его, мы будем знать, что нас трое. С рождеством!

В 1986 году я по журналистской работе попал в Сальвадор, нашел и начал разматывать ниточку подпольного клубка и попросил *ребят*, чтобы помогли мне попасть в Чалатененго, на освобожденную территорию. Там, в одной из деревушек *Чалате*, я увидел партизанского врача с бездонными голубыми глазами и длинными светлыми волосами. «Компаньера Виктория», — представили мне ее.

«С Рождеством!», — сказал я ей. «С Рождеством!», — ответила она.

Мы не могли показать, что знакомы; это было опасно, особенно для меня, так что нам пришлось ограничиться только взглядами друг на друга, и потом только моим взглядом на то, как она принимала десятки раненых, и объясняла, как подготовить кокосовую сыворотку, оперируя под открытым небом и заживляя раны сложными препаратами или просто лечебными травами.

Госпиталь «Виктории» состоял из четырех гамаков, бамбукового операционного стола, аптечки, постоянно находившейся в рюкзаках за плечами двух ассистентов и котелка с кипящей водой для стерилизации инструментов и бинтов. Никогда раньше жизнь не казалась мне такой хрупкой. И никогда раньше не видел я ее в более надежных руках.

Каждый раз, когда сальвадорская армия или авиация атаковали партизанские позиции, госпиталь перемещался в

другой район сельвы. Больные на носилках, инструменты в рюкзаках, и «Виктория», раздающая слова ободрения, антибиотики и надежду.

Я знаю, что она выжила и после войны продолжила руководить походным госпиталем. В одном из уголков моего дом ее ожидают книги — стихи Эриха Мюхсама, — которые она оставила перед отъездом.

Где бы ты ни была, Криста, «Виктория», с Рождеством!

Голос молчания

В марте 1996 г. продавец одного из книжных магазинов Сантьяго сообщил мне странную новость:

— Пару дней назад сюда зашел какой-то странный тип, с твоей фотографией вырезанной из газеты. Он был странный, очень странный, не говорил ни слова и только тыкал нам твое фото. Он провел здесь несколько часов, пока мы его, разумеется, не выгнали.

Разумеется. Ненавижу эти разумения, решаемые за других. Я хотел узнать что-нибудь еще, но продавец не помнил никакой другой черты таинственного посетителя. С окончательно испорченным настроением я вышел из магазина и когда уже спускался по улице, почувствовал, что кто-то тронул меня за руку. Это была кассир книжного.

— Я точно не уверена, но мне кажется, что я видела раньше того, кто тебя искал. Это молодой человек, очень худой и обычно он ждет кого-то на выходе из рынка.

В течение многих дней и в разные часы, я обходил квартал старого и красивого центрального рынка Сантьяго, огромное здание построенное одним привилегированным учеником Эйфеля, и в котором всегда представлены лучшие фрукты земли и моря. Я видел как выходят сотни мужчин и женщин с тяжелыми сумками, как появляются по утрам богемные гуляки, спеша восстановить силы благодаря безотказному средству — сырым моллюскам, видел детей-торговцев, слепых певцов ностальгических танго, но этот худой незнакомец, которого я наверняка знал, не подавал признаков жизни.

Когда на четвертый день вечером я увидел его, что-то горячее перевернулось у меня в груди — передо мной стоял мой дорогой и славный товарищ, которого, как и стольких других, я считал окончательно потерянным в каком-то из уголков мира. Я обнял его, и делая это сказал ему единственное, что о нем знаю: «Оскар», потому что под этим именем я узнал его в Кито почти двадцать лет назад, но «Оскар» никак не среагировал ни на объятие, ни даже на мое присутствие, и когда я тряс его, настаивая, что это я, я заметил, что его руки беспомощно свисали, голова его медленно склонялась вниз и глаза наполнялись влагой и не хотели дать выхода слезам.

Мы посмотрели друг на друга. Я не знал его настоящего имени. Мы познакомились в трудные годы, когда даже в ссылке, подполье заставляло нас следовать своим спасительным законам и требовало от нас знать друг о друге самый минимум.

В его глазах была нежность, и я задал ему множество вопросов о том, что с ним происходит, где живет, хочет ли что-нибудь выпить, но он молчал и я начал себя спрашивать, способен ли он меня слышать.

Так мы провели почти два бесконечных часа. Я, разговаривая с ним, и «Оскар» отвечая мне блеском своих глаз и звуками, которых я не мог разобрать, пока одна женщина, из тех, чья преждевременная старость и морщины напоминают нам, что диктатура отняла у нас не только родственников и друзей, но еще и годы жизни, вдруг подошла и грустно сообщила мне, что «Оскар» не может говорить, что после многих лет инвалидности ему едва удается ходить, но что скорее всего он может меня слышать.

Эта женщина сказала, что спешит и должна отвести его в туалет рынка, я предложил пройти с ними, но она отказалась, давая мне понять что мой друг может почувствовать себя неудобно.

— Подождите нас здесь, и через пять минут мы вернемся, — сказала она мне, и они не вернулись.

Начиная с того дня, я провел три года, пытаясь выяснить что-то о товарище, чье подпольное прозвище среди нас, чилийцев, аргентинцев и уругвайцев, живших в Эквадоре, было «Оскар». Все было бесполезно. Никто ничего не знал, и когда я уже был готов вывесить белый флаг, случайная встреча с одним венесуэльцем открыла для меня историю «Оскара», которую я расскажу сейчас вам, начиная ее с волшебной фразы, с которой начинаются все чудесные истории.

Жил-был на свете простой парень, родившийся в пролетарском районе. Он с детства много работал и работая, он решил выучиться на электрика. Он хотел осветить свою страну, чтобы никто не спотыкался в завалах мрака. И так во времена правительства Альенде он стал активным профсоюзным руководителем. Потом, после поражения, он отправился в ссылку, и его стремление осветить мир привело его в Никарагуа, где он сражался с диктатурой Сомосы. Чтобы положить конец мраку в своей стране, из Никарагуа он подпольно вернулся в Чили. В один из дней 1982 года он попал в руки палачей, и будучи человеком безгранично последовательным, он не сказал и ни слова, не стал искать знакомых лиц среди других заключенных и не сделал ничего, что могло бы повредить его товарищам.

Поскольку палачи не смогли сломить его воли с помощью пыток, они решили использовать его как ловушку — они

выбросили его, превращенного в мешок с костями, с перебитым позвоночником, не в состоянии пошевелить даже веками, на одном из окраинных пустырей. С одной стороны — это было явное предупреждение для других, а с другой — западня, потому что чувство солидарности рано или поздно заставило бы его товарищей приблизиться к нему.

Жил-был на свете парень-электрик, который превратил неподвижность и молчание в свою непреодолимую баррикаду.

Скоро «Оскар» отправится в Европу, где его будут ждать специалисты, которые — как мне хочется в это верить! — добьются того, чтобы он сам однажды смог назвать свое настоящее имя, рассказать свою безупречную историю и чтобы его голос рабочего раз и навсегда покончил со мраком и молчанием.

Розы Атакамы

У Фреди Таберны была тетрадь с картонной обложкой, в которую он добросовестно записывал все чудеса света, а было их больше семи и были они бесконечными и постоянно множились. Волей случая, мы родились в один и тот же день одного и того же месяца одного и того же года, разделенные только двумя тысячами километров засушливой земли, потому что Фреди родился в пустыне Атакама, почти на самой границе между Чили и Перу, и эта случайность была еще одной среди стольких причин, укрепивших нашу дружбу.

Однажды в Сантьяго я увидел, как он считает все деревья парка Форесталь и записывает в свою тетрадь, что центральная аллея окружена 320 платанами, которые выше центрального собора Икике, что все их стволы так широки, что их невозможно обхватить руками и что возле парка несет свои свежие воды река Мапочо, которая радует глаз, когда смотришь как она течет под старыми железными мостами.

Когда он прочитал мне свои записки, я сказал ему, что мне кажется абсурдным считать эти деревья, потому что в Сантьяго есть множество платанов столь же или еще более высоких, чем эти, и что обращаться столь поэтически к реке Мапочо — вялым водам цвета грязи, волокущим мусор и мертвых животных, мне кажется преувеличением.

- Ты не знаешь севера и поэтому не понимаешь, — ответил Фреди и продолжил описание маленьких парков, ведущих к холму Санта-Лусия.

Потом, вздрогнув от выстрела пушки, ежедневно извещавшей Сантьяго о наступлении полудня, мы отправились пить пиво на площадь Оружия, потому что у нас была та неудержимая жажда, которая всегда бывает у тех, кому двадцать.

Несколько месяцев позднее Фреди показал мне север. Его север. Песчаный, засушливый, но исполненный памяти и всегда с каким-нибудь сюрпризом наготове. 30 марта когда едва начало рассветать мы выехали из Икике, и до того как солнце (Инти) поднялось над хребтами Леванте, старенький Ленд-Ровер одного приятеля уже вез нас по Панамериканскому шоссе, прямому и длинному, как бесконечная игла.

В десять утра пустыня Атакама предстала перед нами во всем своем беспощадном великолепии, и я навсегда понял почему кожа ее жителей всегда выглядит преждевременно постаревшей, исчерченной бороздами, которые оставляет солнце и пропитанные селитрой ветры.

Мы побывали в деревнях-призраках и их прекрасно сохранившихся домах, где все комнаты в порядке, с аккуратно расставленными в ожидании жильцов вокруг столов стульями, увидели театры рабочих и профсоюзные центры, готовые к следующему собранию, черные доски пустых школ, чтобы написать на них историю, которая объяснит скоропостижную смерть селитряных разработок.

- Здесь был Буэнавентура Дуррути. В этом вот доме он останавливался. А вот там он говорил о свободном объединении рабочих, — рассказывал мне Фреди, показывая свою собственную историю.

Ближе к вечеру мы пошли на кладбище, могилы которого украшены пересохшими бумажными цветами, и я решил, что это и есть знаменитые розы Атакамы. На крестах выли вырезаны фамилии кастильцев, аймара, поляков, итальянцев, русских, англичан, китайцев, сербов, хорватов, басков, астурийцев и евреев, объединенных одиночеством смерти и холодом, опускающимся на пустыню в момент погружения солнца в Тихий океан.

Фреди записывал данные в свою тетрадь или просто сверял точность предыдущих записей.

Возле самого кладбища мы разложили спальные мешки и улеглись курить и слушать тишину; теллурический шепот миллионов камней, которые только что были перегреты солнцем и от резкого перепада температуры начинали бесчисленное число раз взрываться. Помню, что я уснул, устав смотреть на тысячи и тысячи звезд, которые освещают ночь пустыни, и на рассвете 31-го, мой друг разбудил меня.

Наши спальные мешки были мокрыми. Я спросил его, неужели это дождь, и Фреди ответил, что да, как это бывает в Атакаме почти каждое 31 марта ночью, прошел легкий и осторожный дождь. Поднявшись на ноги я увидел, что вся пустыня была интенсивно красного цвета, покрытая крошечными цветами цвета крови.

- Вот они. Розы пустыни, розы Атакамы. Они всегда здесь, скрытые под соленой землей. Их видели все — атакаменьос, инки, испанские конкистадоры, солдаты Тихоокеанской войны и рабочие селитряных рудников. Всегда они здесь и цветут только раз в году. К полудню солнце сожжет их, — сказал Фреди и записал что-то в свою тетрадь.

Это был последний раз, когда я видел моего друга Фреди Таберну. 16 сентября 1973 г., пять дней спустя после фашистского военного переворота, взвод солдат отвел его на один из пустырей окраин Икике. Он едва мог передвигаться, ему сломали многие

ребра и руку, и он почти не мог раскрыть глаз, потому что все его лицо было превращено в один сплошной синяк.

- В последний раз, вы признаете себя виновным? — спросил адъютант генерала Арельяно Старка, который наблюдал эту сцену со стороны.

- Я признаю себя виновным в том, что был студенческим руководителем, социалистом и защищал законное правительство, — ответил Фреди.

Военные убили его и зарыли тело в никому не известном месте пустыни. Через несколько лет, в одном из кафе Кито, один из переживших этот кошмар, Сиро Валье, рассказал мне, что Фреди встретил пули пением в полную грудь социалистической «Марсельезы».

Прошло двадцать пять лет. Наверное, Неруда был прав, когда написал: «Мы уже никогда не станем теми, кем были тогда», но в память о моем товарище Фреди Таберне я продолжаю записывать чудеса света в тетрадь с картонной обложкой.

Шалом, поэт

Я никогда не встречался с еврейским поэтом Абрамом Суцкевером, но маленький томик его стихов, переведенных на испанский, всегда со мной, где бы я ни был.

Я восхищаюсь теми, кто сопротивляется, теми, кто сделал из глагола «сопротивляться» собственные плоть, пот и кровь, и кто доказал без кривляний, что можно жить, и жить стоя, причем даже в самый худший из моментов.

Абрам Суцкевер родился в один из дней июля 1913 года в Сморгони, небольшой деревушке в окрестностях Вильны, столицы Литвы. Научился называть маленькие чудеса своего детства на идише и по-литовски, и незадолго до того, как ему исполнилось семь лет — наконец еврей и приговорен к дороге — его родители должны были переехать в сибирский город Омск, и там он встретился с киргизским — единственным языком, годящимся для описания меланхолической природы Сибири.

Бескрайнее небо, волчий вой, ветер, тундра, березовые рощи и его отец, вырывающий ноты из ностальгической скрипки — все это стало источником первых стихов Суцкевера, и жизнь, ожидавшая юного поэта, не была устлана розами.

В девятилетнем возрасте, после смерти отца, он вернулся в Вильну, которая, как и все восточноевропейские города со значительным еврейским присутствием, была центром культурного сияния. Эйнштейн и Фрейд часто посещали этот город, именовавшийся в те годы «балтийским Иерусалимом», для того чтобы прочитать лекции и развить свои теории. Издавалось множество литературных, научных и политических журналов. Влияние этической мысли просвещенной Вильны пересекало границы, и длилось это пока рык нацистской бестии и немецкое вторжение в Польшу не положили начало Второй Мировой войне.

Корабли могут тонуть на земле?
Я чувствую, как под моими ногами тонут корабли, —

написал Суцкевер и вскоре испытал первые последствия кораблекрушения; немцы оккупировали Литву и евреи были согнаны в гетто.

Первая ночь в гетто это первая ночь в могиле / потом привыкаешь, написал Суцкевер, тем не менее в его стихах не было ни слова смирения, речь в них шла о необходимости сопротивляться, чтобы выйти из могилы.

Через два года в гетто Вильны, на рассвете, нацисты отобрали людей, членов великой человеческой семьи, которые в этот день должны были умереть. Среди них оказался и Абрам Суцкевер, и ему пришлось рыть яму, в которую рухнет собственное тело.

Лопаты и мотыги вонзались и вырывали куски земли, размягченной дождями, не встречая большего сопротивления, чем щебенка, какая-нибудь кость или кусок корня. Неожиданно, мотыга, которая была в руках у Абрама Суцкевера, рассекла надвое червя, и поэт с удивлением увидел, что обе его половинки продолжали двигаться…

…червь разрубленный надвое становится четырьмя
еще один удар и эти четыре умножаются
и все эти существа созданы моей рукой?
поэтому во мрак моего сознания возвращается солнце
и надежда наполняет мои руки:
если даже червячок не сдается удару лопаты
разве ты слабее чем червь?

Абрам Суцкевер пережил тот расстрел. Раненый, он упал в яму вместе со своими мертвыми товарищами, его зарыли и оттуда он продолжил сопротивляться.

Сопротивлялся его рассудок и он был сильнее страха и боли. Сопротивлялся его ум и он был сильнее ярости. Сопротивлялась его любовь к жизни, и в ней он нашел необходимую энергию, чтобы выйти из смерти, подпольно жить в гетто и организовать колонну бойцов, которые под командованием поэта начали вооруженное сопротивление в странах Балтики.

Пережившие холокауст не смогут забыть послания надежды, которые несмотря на весь окружавший кошмар, Суцкевер рассылал им по гетто Центральной Европы и даже до самих лагерей смерти. Особенно помнят они одно из них, удивительный гимн сопротивления, который назывался «Тайный Город». В нем Суцкевер описывает жизнь десяти человек — еврейский кворум, чтобы вместе молиться, — которые выжили в полном мраке канализации. У них не было пищи, но один из них берется за соблюдение кошерной нормы. Они были полураздеты, но другой берется за проведение одежды в порядок. Одна беременная берется за организацию игр и воспитания детей. У них нет врача, но один из них дает советы и утешения. Слепой берется за охрану, ибо мир мрака — его мир. Раввин, едва одетый в священный пергамент, берет на себя обязанности сапожника. Молодой парень становится лидером группы и организует месть. Учитель ведет дневник-хронику, чтобы сохранить память, и поэт

берется за то, чтобы его товарищи помнили, что в мире существует красота.

В 1943 году поэту исполняется тридцать лет, и он становится одним из главных лидеров антинацистского сопротивления. Его известность пересекает границы, и после нескольких неудавшихся попыток, советский военный самолет пересекает линию фронта и приземляется во вражеском тылу, чтобы перевезти его в Москву.

Там его ждут Илья Эренбург и Борис Пастернак. Перед еврейским антифашистским комитетом он рассказывает о восстаниях в гетто Варшавы и Вильны и просит трех вещей, которые, может быть, спасут множество жизней — решения, оружия и солидарности.

Интеллектуалы приглашают его остаться в СССР, поэты восхищены его поэзией, ему даже предлагают Сталинскую премию, но Абрам Суцкевер отказывается от всего и решает, что его место — в сопротивлении.

Когда закончилась война, Суцкевер стал одним из ключевых свидетелей на Нюренбергском суде над нацистскими главарями и потом, избегая всяческого излишнего протагонизма, в 1947 году, на борту корабля, именуемого «Родина», он прибыл в Палестину — *где каждый камень это мой дед* — накануне рождения Государства Израиль.

Я никогда не встречался с еврейским поэтом Абрамом Суцкевером, но он научил меня тому, что *мы, мечтатели, должны превратиться в солдат*. Я знаю, что скоро ему исполнится восемьдесят восемь лет, и наверняка он возмутится, если кто-то напомнит ему о его почтенном возрасте, потому что

старики умирают в расцвете юности
и деды это только переодетые дети.

Я никогда не встречался с ним, но его стихи и его пример всегда со мной и необходимы мне, как хлеб и вино.

Папа Хемингуэй, посещаемый ангелом

Хоселито Моралес черен, как ночь, и сейчас он наверняка прогуливается по улицам Гаваны со своим потрепанным картонным портфелем, полным авокадо.

Он и авокадо представляют собой странную смесь зеленого с черным, выделяющуюся на фоне вечно изменчивых красок Карибов.

— Вы знаете, что все благородные боксеры попадают на небо? — спросил он меня однажды вечером, когда мы сидели на набережной.

— На какое небо? — спросил я его в ответ.

— Не на небо церковников, а на другое, где всегда множество красивых девушек, которые никогда не говорят нет, когда ты приглашаешь их танцевать. На этом небе каждый может пить сколько угодно рома и бесплатно. Это — небо, на котором Папа Хемингуэй принимает всех, кто при жизни был благороден.

Мне понравилась идея Хоселито и я уверовал в это небо.

Сегодня, когда приближается 35 годовщина смерти Эрнста Хемингуэя, его внучка Маргот решила отправиться в путь, чтобы встретиться со своим дедом, и я хочу верить что где бы это небо ни находилось, там будет праздник со множеством рома и карибской музыки.

Папа Хемингуэй сопровождает меня с детских лет. Напротив пекарской доски, на которой я пишу, висит его фотография, на которой он в толстом шерстяном свитере и на его лице видны все отметины, выгравированные жизнью. Пишу отметины, а не шрамы, потому что шрамы — это памятники боли, отметины Хемингуэя, в отличие, говорят мне: видишь, товарищ, отсюда рождается литература, из этих отметин, которые становятся дипломами всего пережитого.

Множество раз я шел по его стопам в Испании, Италии, на Кубе, и всегда находил следы, которые укрепляли во мне это чувство нежности к Учителю. Я следовал за ним, но не в Испании боя быков, а в Испании поражения Республики, потому что в этом пространстве Хемингуэй спас лучшее из того что есть в человеческом существовании.

Один мой дядя, который воевал в Интернациональных Бригадах, сумел описать это: «Он знал, что дело республиканцев проиграно, но остался с нами, не для того, чтобы прибавить нам

мужества, это было в избытке. Он остался, чтобы напомнить нам, о том что у нас есть достоинство, и что борьба не заканчивается на фронтах Теруэля и Сарагосы. Она продолжается за Пиренеями и за Уралом. Он остался, чтобы сказать нам, что борьба за человеческое достоинство — задача планетарная».

Однажды утром, в Венеции, я отправился очень рано на лодке в аэропорт. Стояла зима, и лучи рассвета заливали город смутными, почти нереальными красками.

Наша лодка ранила зеркальную гладь каналов, и вдруг в этом отражении еще спящей Венеции я увидел силуэт старика, бессильно и молчаливо вперившегося в тишину зари, единственную форму принять невозможность любви к женщине, которая намного, слишком намного моложе, и не из страха быть отвергнутым и не из моральных измышлений, а просто для того, чтобы спасти для этой женщины ее возможность любить.

В этой лодке я еще раз пережил весь сюжет «За рекой, в тени деревьев» и увидел, как Папа Хемингуэй, на время превратившийся в этого старика, удаляется к другим берегам залива, чтобы продолжить свою охоту на уток — прекрасный повод для такого мудрого романа о любви.

На карибских берегах я находил его во всех рыбаках, «синеглазых и непобедимых», синеглазых не за счет англосаксонской крови, а из-за того, что они окрашены морем и лишениями.

Каждый день я здороваюсь с ним, и каждый день Папа Хемингуэй отвечает, объясняя мне, что искусство писать сродни труду ремесленника. Я здороваюсь с ним и говорю ему, что все его советы являются для меня заповедями: «прекращай писать только тогда, когда знаешь, что следует дальше. Помни, что прекрасные романы могут быть написаны словами, стоящими двадцать долларов, но заслуга писателя в том, чтобы смочь написать их словами ценой в двадцать центов. Не забывай никогда, что твое ремесло — это лишь часть твоей судьбы. Нехватка одной полосы не может изменить шкуру тигра, но одно лишнее слово способно убить любую историю. Место избавления от печали — бар, но ни в коем случае не литература».

Иногда я пытаюсь представить самоубийство Папы Хемингуэя. Наверное, тем утром 1961 года он посмотрел в зеркало и задал себе вопрос:

— И что теперь?

Вокруг стояли горы Айдахо, деревья, травы, птицы, его коты (накануне ночью один из них исцарапал книгу Поля Лафаржа), все к чему сводилась жизнь гиганта. И что теперь?

И тогда, в решимости избавиться от этой слабости,

угрожавшей с ним покончить, он снял со стены винтовку.

Через тридцать пять лет его внучка с ним, на этом небе, о котором рассказал мне в Гаване Хоселито Моралес. Не на небе церковников, а на том, другом, где жизнь всегда праздник.

Переводы Олега Ясинского

notes

Примечания

1

Тано — аргентинское прозвище итальянцев (*прим. переводчика*).

2

Va bene — хорошо (ит.) (*прим. переводчика*).

3

Бачича — чилийское прозвище итальянцев (*прим. переводчика*).

4

Гаучо — аргентинские пастухи (*прим. переводчика*).

5

Асадо — мясо, жареное на решетке (*прим. переводчика*).

Имеется в виду стиль art-deco (*прим. верстальщика*).